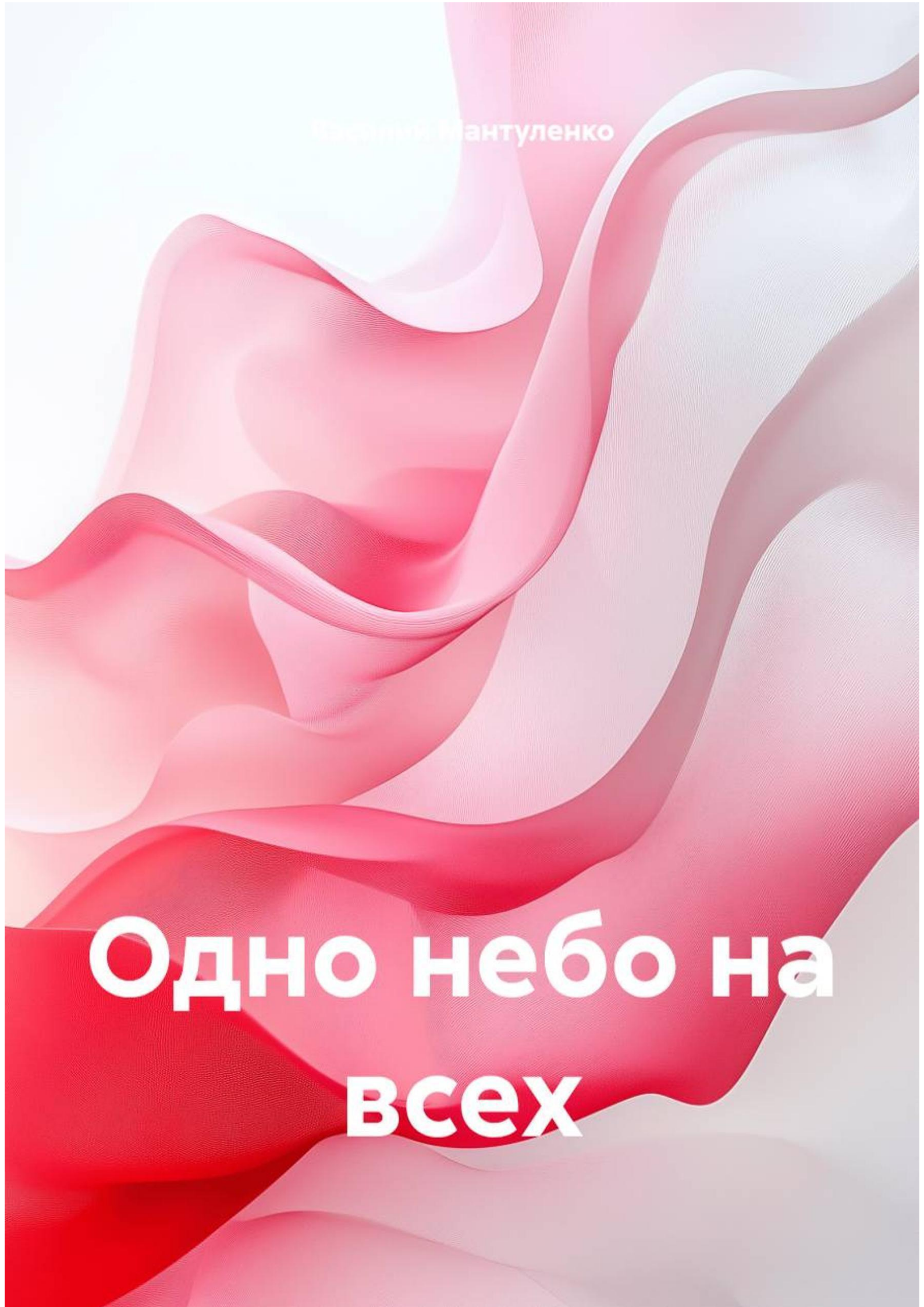


The background of the entire image is an abstract composition of flowing, wavy lines in various shades of red and pink. The waves originate from the top left and sweep across the frame towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The colors transition from a pale pink at the top to a vibrant red at the bottom.

Николай Мантуленко

Одно небо на всех

Василий Мантуленко

Одно небо на всех

«Автор»

2026

Мантуленко В.

Одно небо на всех / В. Мантуленко — «Автор», 2026

Анна выросла в тесной коммунальной квартире провинциального советского города — там, где на всех одна кухня и одно терпение. С детства она считала не трамваи за окном, а годы до побега. Судьба даёт ей шанс: туристическая путёвка в Италию оборачивается новой жизнью — браком с немолодым итальянцем, чужим языком, чужой роднёй и вечной тоской по дому, которого, кажется, больше нет. У Анны будет всё, о чём она мечтала девочкой у промёрзшего окна, — и цена, о которой она тогда не думала. А спустя годы, когда на набережной родного города её настигнет прошлое в лице человека по имени Алексей, ей придётся выбирать не между двумя мужчинами, а между двумя жизнями и двумя версиями себя. Роман о том, что небо — как бы далеко под ним ни оказался дом — одно на всех.

© Мантуленко В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. О том, как девочка смотрела на трамвай, и что из этого вышло	5
Глава вторая. О щях, что пахли всей улицей, и о соседях, чьи страсти были громче грома	7
Глава третья. О прохоровской грозе, о дворовых законах и о празднике, что был один на всех	9
Глава четвёртая. О матери, о фабрике и о ночных слезах за стеной	11
Глава пятая. О школе, о Тамаре Ивановне и о первой пятёрке	14
Глава шестая. О первом обмане и о цене мужского слова	16
Глава седьмая. О шестнадцати годах и о первой, ещё не итальянской, мечте о побеге	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Василий Мантуленко

Одно небо на всех

Глава первая. О том, как девочка смотрела на трамвай, и что из этого вышло

Квартира №7 была похожа на старый комод с рассохшимися ящиками: откроешь один — посыплется чужая жизнь. Стояла она на третьем этаже облупленного дома постройки года, должно быть, сталинского, но обжитого уже совсем не по-сталински — тесно, взахлёб, с тем нервическим уплотнением быта, каким полны бывают все дома эпохи великих перемен и малых зарплат. Здесь, за фанерными перегородками, столь тонкими, что вздох, испущенный в спальне, долетал на кухню соседей быстрее, чем облако пара от закипевшего чайника, ютились три семьи — и с ними ютилась маленькая Анна, восьми лет от роду, вместе со своей матерью, Валентиной Сергеевной.

За одной стеной жила тётка Клавдия, вдова, которая по вечерам вела долгие, обстоятельные беседы с покойным мужем — так громко и так убедительно, что маленькая Анна долго верила, будто он и в самом деле сидит у неё на кухне и просит добавки. За другой — семья Прохоровых, где отец пил по средам, а мать била его сковородкой по четвергам, и распорядок этот соблюдался так же неукоснительно, как расписание пригородных электричек. Всё это варилось, шкворчало, ссорилось и мирилось в едином пространстве, где хватало ума на одну общую кухню и одно общее терпение.

Стены впитали в себя всё: и щи, и слёзы, и махорочный дым дядь-Вовиных папирос, и запах валокордина, которым тётка Клавдия отпаивала себя по субботам. Дом дышал этим запахом тяжело, с присвистом, как дышит загнанная, но всё ещё живая лошадь.

Подъезд, ведущий в этот дом, заслуживает также нескольких слов, ибо всякий дом узнаётся сперва по подъезду своему, как человек — по рукопожатию. Дверь подъездная не запиралась никогда, хотя замок на ней висел исправный, — просто ключ от него давно потерялся у всех жильцов разом, будто по уговору, и оттого всякий, кому вздумалось бы войти, входил беспрепятственно, неся с собою вместе со сквозняком запах то соляной кислоты из аптеки на углу, то жареной рыбы, то — по праздникам — пороха от петард, которые дворовые мальчишки взрывали с тем восторгом, с каким взрослые встречают салют победы. Лестница скрипела на каждой ступеньке своим, особым голосом, так что жильцы, наученные годами, безошибочно узнавали по этому скрипу, кто именно поднимается — тяжёлая ли поступь дяди Гриши, возвращающегося со смены, или лёгкие, торопливые шаги почтальонши, несущей пенсию бабке Фросе.

Валентина Сергеевна работала на трикотажной фабрике в две смены и возвращалась домой такой измученной, что засыпала иной раз прямо за столом, не успев снять телогрейку. В этот благословенный, вязкий, как кисель, час тишины Анна подходила к окну, дышала на стекло, протирала кулаком запотевший кружок — и смотрела, как вдалеке, дребезжа всеми своими суставами, точно древняя старуха, ползёт по рельсам последний вечерний трамвай.

— Уеду, — говорила она стеклу, и стекло тотчас же снова запотевало от её же дыхания, будто не желая хранить эту клятву дольше секунды. — Уеду отсюда, хоть бы душу пришлось продать, а уеду.

Мать, не открывая глаз, спрашивала иногда сквозь дрему: — Что бормочешь, Анют? — Ничего, мам. Трамвай считаю.

И это было почти правдой: она и в самом деле считала — не трамваи, а годы, оставшиеся до совершеннолетия, до паспорта, до той неведомой черты, за которой, как ей казалось, непременно должно быть теплее.

Занятие это — считать трамваи — сделалось у Анны своего рода вечерним обрядом, таким же неукоснительным, как обряд тётки Клавдии беседовать с покойным мужем. Она знала расписание не хуже иного диспетчера: в шесть пятнадцать проходил трамвай номер три, битком набитый рабочей сменой с трикотажной фабрики, — этот она пропускала равнодушно, зная, что в нём, быть может, едет и родная мать, ещё не добравшаяся до дому. В семь сорок пять полз мимо, дребезжа расшатанными стёклами, трамвай номер семь, полупустой, вечерний, — и вот этот-то трамвай, отчего-то именно он, а не какой другой, сделался для Анны символом самого побега: ей казалось, будто именно на нём, а не на каком-нибудь другом маршруте, можно уехать не просто до депо, а гораздо, гораздо дальше — туда, где нет ни фанерных перегородок, ни запаха валокордина, ни расписания супружеских побоев у соседей.

Нужно, впрочем, сказать несколько слов и о самом городе, в котором всё это происходило, — ибо город этот заслуживает описания не меньшего, чем сама квартира №7, будучи её продолжением и, если угодно, её увеличенной копией. Город стоял на реке, обмелевшей и обиженной на весь свет за то, что когда-то её называли судоходной, а теперь и баржа не всякая пройдёт, не зацепив брюхом ил. Улицы его были вымощены булыжником ещё в позапрошлом веке и с тех пор чинились так неохотно, что казались скорее археологическим памятником, чем проезжей частью. Заводская труба на окраине дымила круглый год, независимо от того, работал ли завод — просто по привычке, как дымит старик трубкой, давно забыв вкус табака, но не в силах расстаться с самим жестом курения.

Зимой город тонул в сумерках уже к четырём часам пополудни, и фонари, зажигавшиеся через один, освещали не столько улицу, сколько собственную немощь; летом же, напротив, солнце палило с той же неохотной, служебной добросовестностью, с какой чиновник в присутствии исполняет надоевшую ему должность. И во всякое время года над городом висел этот особенный, ни с чем не сравнимый запах провинциальной России — смесь мокрой листвы, солянки, свежего хлеба из булочной на углу и чего-то ещё, неопределимого, что можно назвать, пожалуй, только запахом ожидания: ожидания то ли лучших времён, то ли поезда, то ли просто того часа, когда можно будет наконец лечь спать.

По воскресеньям, единственному дню, когда фабрика отдыхала, а с нею отдыхал — хотя бы отчасти — и весь квартал, город являл собою зрелище особенно унылое: закрытые ставнями магазины, пустой рынок с несколькими случайными торговками семечками, да редкие, случайные прохожие, спешащие — неизвестно, впрочем, куда, ибо спешить в этом городе в воскресенье было решительно некуда. Анна в такие дни особенно остро чувствовала ту особую, почти осязаемую скуку провинциального безделья, которая не давала ей покоя сильнее любой обиды: обиду можно перетерпеть, скуку же перетерпеть нельзя — она проникает во все щели, как сырость, и поселяется там навсегда.

Анна росла в этом городе так, как растут в подобных местах все дети, — рано научившись читать не по книжкам, а по лицам взрослых, безошибочно определяя по одному звуку хлопнувшей двери, будет ли сегодня в квартире мир или война. Отца своего она не помнила: он исчез из её жизни столь рано и столь безвозвратно, что даже мать, случалось, путалась, рассказывая дочери о нём разные версии — то моряк, то шофёр дальнего следования, то просто «не сложилось», — и Анна давно перестала уточнять, какая из версий верна, решив для себя, что отец её — просто ещё один жилец квартиры №7, съехавший до того, как она успела его запомнить.

Не там ищем счастья, где оно потеряно, а там, где нам всего теснее, — оттого и рвёмся мы вон, не разбирая дороги.

Глава вторая. О щаж, что пахли всей улицей, и о соседях, чьи страсти были громче грома

Нужно сказать, что кухня в квартире №7 была местом не менее судьбоносным, чем иной, скажем, сенат: здесь решалось, кому сегодня повезёт с горячей водой, чья очередь мыть уборную, и — что важнее всего — здесь велись главные дипломатические переговоры между враждующими державами Клавдии и Прохоровых. На плите одновременно кипело три кастрюли, и пар от них смешивался в один общий пар, как смешиваются в общем хоре три непохожих голоса, так что уже никто не взялся бы сказать, где кончаются щи тётки Клавдии и начинается прохоровский рассольник.

А какие тут бывали персонажи! Дядя Гриша, слесарь шестого разряда, по праздникам надевал галстук и играл на гармонии так, что у соседского кота начиналась форменная истерика, а сам дядя Гриша уверял, будто играет «Мурку» с консерваторским чувством. Бабка Фрося выходила на кухню в любое время суток в застиранном халате, похожем на боевое знамя изрядно потрёпанного полка, и предсказывала всем подряд скорую гибель — то от простуды, то от порчи, то просто «оттого что жисть такая», — и, надо признать, ошибалась она реже, чем городская метеослужба.

Была ещё и тётя Зина из четвёртой квартиры, хоть и не жившая с ними одной коммуналкой, но приходившая так часто, что давно уже считалась чем-то вроде почётного члена семьи, — женщина неопределённых занятий, торговавшая на рынке то мылом, то семечками, то, по слухам, чем-то и вовсе непозволительным, но обладавшая столь широкой и заразительной душой, что даже участковый, заходивший к ней по долгу службы, неизменно уходил не с протоколом, а со стаканом чая и куском пирога.

Тётка Клавдия, если уж вести о ней речь подробно, потеряла мужа своего, Степана Ильича, ещё в семьдесят девятом году — не на войне, войны в ту пору не было, а на буровой, куда он завербовался за длинным рублём и откуда вернулся уже в цинковом гробу, задавленный то ли обвалившейся вышкой, то ли — как шептались злые языки — собственной непросыхающей после получки удалью. С тех самых пор Клавдия и завела привычку разговаривать с покойным так, будто он вышел ненадолго покурить на лестницу и вот-вот вернётся, — привычку, которая соседям казалась поначалу тревожным симптомом, а с годами сделалась настолько привычной частью квартирного быта, что её скорее хватились бы, случись ей исчезнуть, чем возмутились бы её присутствием.

— Степан, ты гречку-то будешь? — спрашивала она пустой табуретке, и Анна, проходя мимо, всякий раз замирала на секунду, ожидая ответа, — а ответа, разумеется, не следовало, и от этого отсутствия ответа веяло чем-то куда более пронзительным, чем от иного надгробного плача.

Клавдия, надо сказать, была женщиной хозяйственной и притом на диво щедрой — испечёт, бывало, пирог с капустой размером чуть не с крышку стола, разрежет его на тринадцать неровных долей и обнесёт всю квартиру, не пропустив ни единой двери, включая дверь Прохоровых, с которыми враждовала она в остальные дни столь же истово, сколь и в этот раздавала пироги, — и на резонный вопрос Анны, отчего же она делится с врагами своими, неизменно отвечала одной и той же фразой, ставшей у них в квартире чем-то вроде поговорки:

— Пирог, Анюта, вражды не разбирает. Пирог — он для всех пирог.

По субботам же, когда наступал час обязательного, как воскресная обедня, приёма валокордина, Клавдия садилась к тому же пустому табурету со стаканом воды и накопанными в него сорока каплями, и вся квартира — по негласному, но неукоснительному уговору — в эти

минуты старалась ходить потише, будто в доме и вправду лежал покойник, а не сидела у стола вполне живая, только чрезмерно сердечная старуха.

Глава третья. О прохоровской грозе, о дворовых законах и о празднике, что был один на всех

Прохоровы же являли собой семейство иного, более шумного и более театрального склада. Отец, Виктор, работал слесарем на том же заводе, что и дядя Гриша, но, в отличие от последнего, до праздничного галстука никогда не доживал: пил он не по праздникам, а по средам, методично и, можно сказать, с чувством глубокого профессионального долга, будто среда была его личной вахтой перед лицом трезвости. Мать, Людмила, встречала его с работы неизменно со сковородкой в руке — не потому, что готовила ужин в передней, а потому, что держала её наготове, точно оружие, и била ею мужа по четвергам с той же неотвратимостью, с какой встаёт солнце.

Распорядок этот соблюдался в квартире №7 с такой пунктуальностью, что соседи, случалось, сверяли по нему если не часы, то дни недели: заслышав в среду вечером первые нетвёрдые шаги Виктора на лестнице, бабка Фрося неизменно крестилась и произносила: «Ну, здравствуй, середка», — а в четверг, заслышав грохот сковороды о что-то, судя по звуку, не менее твёрдое, чем сама сковорода, добавляла с той же интонацией: «А вот и расплата пришла». Никто в квартире не считал нужным вмешиваться в эти еженедельные баталии — отчасти из деликатности, отчасти же из твёрдого знания, что к пятнице всё уляжется само собой, и Виктор с Людмилой снова сядут пить чай за общим столом с таким видом, будто ничего между ними в среду и четверг вовсе не происходило.

Дети их, погодки Витёк и Славик, выросли на этом фронте семейных действий закалёнными, как молодая сталь, и относились к родительским баталиям с философским спокойствием, недоступным иным взрослым: заслышав первые раскаты грядущей грозы, они попросту брали Анну за руки и уводили её во двор — играть в резиночку или в казаки-разбойники, пока буря не утихнет сама собой.

Двор, надобно сказать, был отдельным царством со своими законами и своей иерархией, во главе которой стоял, как и полагается, не самый сильный и не самый богатый, а самый находчивый — рыжий Колька из соседнего подъезда, умевший доставать невесть откуда то жвачку заграничную, то видеокассету с мультфильмом, то и вовсе целый ящик петард к Новому году. Анна, не обладавшая ни его находчивостью, ни его связями, выделялась среди дворовой малышни другим качеством — упрямым, ничем не объяснимым молчанием, которое взрослые принимали за скромность, а дети — за то ли высокомерие, то ли за странность, достойную опасливого уважения.

Двор жил по собственному календарю, отличному от календаря взрослых: здесь начало весны отмечалось не первым апрельским днём, а первым, кто рискнул выйти без шапки, за что немедленно бывал освистан всей дворовой компанией и одновременно тайно ей же завидуем; здесь конец лета знаменовался не первым звонком, а последним заплывом в котловане за гаражами, куда мальчишки ныряли, невзирая на строжайший материнский запрет и на ржавую арматуру, торчавшую со дна, точно нарочно расставленную кем-то ловушку для беспечных. Зимой же двор превращался в поле совсем иных сражений: снежная крепость, возводимая сообща всем двором за одну ночь, осаждалась и оборонялась с тем же нешуточным упорством, с каким Прохоровы вели свои еженедельные баталии, — разница была лишь в том, что после снежного побоища противники расходились по домам не врагами, а союзниками, родней по одной пролитой крови из разбитого носа.

Особо же в дворовом календаре стоял Новый год — праздник, на который в квартире №7 объявлялось негласное перемирие между всеми враждующими державами разом: Клавдия и Людмила Прохорова, весь год не упускавшие случая уколоть друг друга через дверную

щель, сходились в этот вечер за общим столом, составленным из трёх раздвинутых столов трёх разных семей, накрытым общей же, надставленной простынёй скатертью, — и на столе этом теснились одновременно селёдка под шубой от Людмилы, знаменитый капустный пирог от Клавдии и салат оливье, в который каждая хозяйка украдкой подмешивала какой-нибудь свой, коронный, скрываемый от прочих ингредиент, отчего салат этот получался год от году всё более причудливого и непредсказуемого вкуса.

Дядя Гриша в такие вечера доставал гармонь без всякого повода со стороны собственно праздника, играл всё те же три мелодии, известные ему в совершенстве, — и Прохоров Виктор, забыв на один этот вечер про свою среду и свою четверговую расплату, пускался в пляс посреди кухни с той же искренней, детской радостью, с какой пускались в пляс, должно быть, все работники великой страны в ту недолгую ночь, когда позволялось на время забыть обо всех своих буднях сразу.

Готовились к этому вечеру загодя, едва ли не с начала декабря: Людмила Прохорова доставала из комода отрез парчи, купленный ещё на свадьбу и с тех пор берёгшийся исключительно для новогодней скатерти; бабка Фрося неделями откладывала с пенсии мелочь на мандарины — фрукт по тем временам дефицитный и оттого драгоценный, — и раздавала их детям квартиры в самый канун праздника с той торжественностью, с какой волхвы, должно быть, раздавали некогда свои дары; а дядя Гриша чистил и настраивал свою гармонь с усердием, достойным лучшего в стране виртуоза, хотя репертуар его, как уже было замечено, за все годы так и не пополнился ни одной новой мелодией. Анна же с малых лет получила от матери особое, почётное поручение — вырезать из цветной бумаги снежинки и гирлянды, которыми затем украшалась вся квартира разом, от входной двери до кухонного окна, — и поручение это исполняла с той же серьёзностью, с какой много позже станет вырезать аппликации уже для собственного сына на его первое итальянское Рождество, сама не замечая, как повторяет из года в год один и тот же материнский узор заботы.

Бой курантов слушали все вместе, столпившись у единственного на всю квартиру исправного телевизора, — и в ту секунду, когда куранты били двенадцать, случалось неизменно одно и то же: свет на миг гас — то ли от перегрузки старой проводки всем одновременно включёнными приборами, то ли просто по многолетней, необъяснимой уже привычке самого дома, — и в наступившей на секунду темноте кто-нибудь из детей неизменно вскрикивал от испуга, а взрослые смеялись этому испугу с той беззаботностью, какая позволительна бывает раз в году, — и когда свет снова зажигался, казалось, будто сама тьма нарочно устраивала эту секундную репетицию конца старого года, чтобы новый год встретили как можно ярче.

Анна, встречавшая эти новогодние застолья ребёнком, а после и подростком, запомнила их на всю жизнь как редкие островки настоящего, беспримесного счастья — не оттого, что праздник этот отличался особой роскошью (какая уж роскошь на общую зарплату трёх небогатых семей), а оттого, что на один этот вечер квартира №7 переставала быть тесной коммуналкой с фанерными перегородками и делалась — пусть на несколько часов — настоящим, единым домом, где всем находилось место за одним столом и всем хватало одного, общего на всех новогоднего боя курантов.

Что за бестолковый и в то же время бесценный народ живёт по нашим коммунальным квартирам! Ругаются так, что стены трещат, а помирают — так всем домом плачут, а уж под Новый год и вовсе рождаются так, будто сроду одной крови были.

Глава четвёртая. О матери, о фабрике и о ночных слезах за стеной

Валентина Сергеевна заслуживает отдельного и внимательного рассказа, ибо без неё повесть об Анне была бы точно дом без фундамента — стоял бы, может, и стоял, да первая же буря его повалила.

Родилась Валентина в деревне, от которой к тому времени, когда о ней зашла бы речь, не осталось уже ничего, кроме нескольких покосившихся домов да заброшенного магазина сельпо, — деревни исчезают в России так же незаметно, как исчезают снега по весне, оставляя после себя лишь мокрую, ничего не помнящую землю. В город она приехала девятнадцати лет, поступать в техникум, да так и осела здесь, выучившись на швею-мотористку и проработав на трикотажной фабрике без малого тридцать лет, — сначала на конвейере, потом, за выслугой, старшей по цеху, что прибавляло к её зарплате сущие копейки, зато прибавляло седины куда щедрее.

Мужа своего, Аннинаго отца, она встретила там же, на фабрике, — он работал в транспортном цехе, водил грузовик, развозивший готовую продукцию по магазинам области, и был, по её собственным, скупым воспоминаниям, человеком лёгким, весёлым, но лёгким той опасной лёгкостью, которая рано или поздно оборачивается либо тюрьмой, либо дальней дорогой в один конец. Он и укатил в одну из таких дорог, когда Анне не было ещё и двух лет, — укатил будто бы за длинным рублём на север, да так там и осел, обзаведясь, по слухам, новой семьёй и вовсе позабыв о прежней, точно старую свою жизнь он потерял так же случайно, как теряют перчатку в автобусе.

Валентина Сергеевна не проклинала его — на проклятия у неё попросту не доставало времени, — но и не простила вполне, и это непросщение, невысказанное, загнанное куда-то в самую глубь души, проявлялось лишь в редкие ночи, когда Анне, притворявшейся спящей, случалось слышать сквозь тонкую перегородку материнские слёзы — тихие, безутешные, стыдящиеся самих себя настолько, что даже плакать мать позволяла себе не иначе как уткнувшись лицом в подушку.

Днём же от этих слёз не оставалось и следа: Валентина Сергеевна вставала затемно, варила Анне кашу, гладила школьную форму так, что стрелки на юбке резали глаз своей остротой, и уходила на фабрику, где отрабатывала смену с той же безропотной добросовестностью, с какой лошадь тянет плуг, не задаваясь вопросом, зачем и для кого она это делает.

Фабрика эта, надобно сказать, стоила отдельного описания — длинное, приземистое здание довоенной ещё постройки, гудевшее изнутри днём и ночью тем особым, утробным гулом швейных машин, какой ни с чем спутать нельзя, — гулом, в котором сливались воедино и стрёкот моторов, и перекличка мастериц, и радио, вечно бубнившее в цеху что-то бодрое и вечно никем не слушаемое. Анна не раз бывала там — когда мать, не с кем было оставить дочь на час-другой после уроков, — и запомнила навсегда этот особый фабричный воздух, густой от машинного масла, хлопковой пыли и женского пота, воздух, которым дышали здесь три поколения женщин её города, начиная едва ли не с прабабок.

Мастерицы в цеху, все как одна немолодые уже женщины с натруженными, исколотыми иглками пальцами, относились к маленькой Анне с той грубоватой, но неподдельной нежностью, какая свойственна женщинам, самым давно уже похоронившим собственную молодость в бесконечных сменах и оттого переносящим весь остаток нерастраченной нежности на чужих детей. Тётя Нюра с крайнего станка неизменно совала ей в руку карамельку из кармана рабочего халата; тётя Валя-большая (были там ещё и тётя Валя-маленькая, для различения) учила её вслух читать этикетки на кипах готового трикотажа; а сама Валентина Сергеевна, оторвав-

пшсь на минуту от конвейера, только успевала погладить дочь по голове быстрым, неловким от недостатка времени движением — и снова склонялась над машиной, ибо норму никто не отменял, а норма эта, спущенная сверху, не считалась ни с чьими материнскими чувствами.

— Учись, Анют, — говорила она дочери едва ли не единственный раз в неделю, когда выдавалась свободная минута для разговора. — Учись, чтоб самой себе хозяйкой быть, чтоб не зависеть ни от кого — ни от мужика, ни от завода, ни от государства этого треклятого.

И в словах этих, произносимых устало, без пафоса, заключалась вся философия Валентины Сергеевны — философия человека, обманутого жизнью настолько основательно, что единственной оставшейся ему верой сделалась вера в образование дочери как в единственный доступный пропуск к иной, лучшей участи.

Дома же, по вечерам, случались у них с Анной и минуты тихого, почти блаженного счастья — когда, укладываясь спать на общей кровати (второй комнаты им не полагалось), мать рассказывала дочери сказки, слышанные ею самой ещё в исчезнувшей деревне от собственной бабки, — про Морозко, про Василису Премудрую, про то, как Иванушка-дурачок всех перехитрил, потому что дурачком только прикидывался, а на деле был всех умнее. Анна слушала эти сказки заворожённо, находя в них некое тайное утешение: даже дурачку, даже самому последнему, судьба однажды воздаёт по заслугам, — стоит только вытерпеть достаточно долго.

По субботам же, в единственный свой относительно свободный от фабрики день, Валентина Сергеевна затевала большую стирку — целый обряд, для которого выкатывалось на общую кухню оцинкованное корыто, кипятилась в баке вода, и весь день квартиру наполнял пар, пахнувший хозяйственным мылом и щёлоком. Анна, слишком маленькая ещё, чтобы помогать по-настоящему, крутилась рядом, подавая матери то одну вещь, то другую, и в эти часы между ними велись самые долгие, самые обстоятельные разговоры — о школьных делах дочери, о ценах на рынке, о том, доживёт ли до весны бабкин фикус на подоконнике, — разговоры ни о чём и обо всём сразу, какие только и возможны бывают между матерью и дочерью, занятыми общим, неспешным, не требующим особого внимания делом.

Зимой, когда темнело рано, а мать задерживалась на смене дольше обычного, Анна иногда — не каждый день, а лишь в те особенно тревожные вечера, когда одиночество в пустой квартире делалось невыносимым, — одевалась потеплее и шла встречать её к самой фабричной проходной. Проходная эта, освещённая одним тусклым фонарём, представляла собою зрелище по-своему величественное в своей унылости: сквозь высокие, обледеневшие ворота раз в несколько часов выплёскивалась на улицу целая толпа усталых женщин в одинаковых телогрейках и одинаковых же платках, повязанных на один и тот же деревенский манер, — и в этой безликой на первый взгляд толпе Анна безошибочно, с одного лишь взгляда, различала материнскую фигуру: чуть сутулую, чуть более медленную, чем у прочих, — Валентина Сергеевна к концу второй смены еле держалась на ногах, но, увидев дочь, поджидающую её у ворот, неизменно расправляла плечи и прибавляла шаг, будто самым этим усилием хотела скрыть от ребёнка меру собственной усталости.

— Опять пришла, дурёха, — говорила она, не то браня, не то жалея дочь за эту привычку, — замёрзла небось. — Не замёрзла, — отвечала Анна неизменно, хотя носки её к этому времени и вправду успевали задубеть от мороза, — и они шли домой рядом, держась за руки, — и в эти двадцать минут пути от фабрики до дома, пожалуй, заключалось больше подлинной близости, чем во всех прочих часах их совместной, вечно занятой бытом жизни: мать рассказывала о цеховых новостях, о том, кто кого обсчитал на пайке, кто получил премию, а кто — выговор, и Анна слушала эти нехитрые рассказы с той же жадностью, с какой слушала позже сказки перед сном, находя в них знакомый, надёжный узор материнского голоса, куда более ценный, чем сам их скупой, лишённый событий смысл.

Скучно, а подчас и невыносимо тяжело жить, зарабатывая гроши честным трудом, — да отчего-то именно такие, гроши зарабатывающие, чаще всего и оказываются людьми, на которых весь дом держится.

Глава пятая. О школе, о Тамаре Ивановне и о первой пятёрке

В школу Анна пошла охотно, едва ли не с радостью, видя в ней — верно, не осознавая того вполне — первый доступный ей выход за пределы квартиры №7 и всего её надыханного, никуда не девающегося быта. Училась она хорошо, не по одной лишь материнской указке, а по искреннему, редкому в её возрасте упрямству: раз уж выбираться из этой жизни, так с самыми лучшими отметками, какие только можно получить.

Школа их, обыкновенная средняя школа №14, стояла в двух кварталах от дома — серое, четырёхэтажное здание с облупленной колоннадой у входа, призванной, по замыслу давно почившего архитектора, внушать ученикам трепет перед храмом знаний, а на деле внушавшей лишь ежегодную головную боль завхозу, вынужденному подкрашивать эту колоннаду к каждому первому сентября заново. В классе у Анны было тридцать два человека — цифра по тем временам обычная, — и рассадка за партами определялась не столько успеваемостью, сколько тем неписаным дворовым правом сильного, какое властвовало и во дворе квартиры №7: задние парты, у окна, доставались самым бойким и самым безнаказанным, передние же — либо самым прилежным, либо самым робким, к каковым в первые годы причисляли и Анну, покуда она не научилась постоять за себя не кулаками, но словом — искусством, которое давалось ей отчего-то легче, чем прочим.

Учительница её, Тамара Ивановна, вела у них литературу и русский язык и была, по общему признанию школьников, «строгая, но справедливая» — формула, которой удостаиваются немногие педагоги, и то лишь после долгих лет непреклонного, но не злого требования знаний. Ходила Тамара Ивановна всегда в одном и том же сером костюме, менявшемся, кажется, только по временам года на такой же, но чуть более тёплый, и голос её, сухой, негромкий, обладал тем удивительным свойством, что весь класс, включая самых отпетых хулиганов задней парты, замолкал при первых же его звуках — не от страха, а от того особого уважения, какое вызывает человек, явно знающий своё дело лучше, чем знают собственное дело девять десятых взрослых, встречавшихся детям в обычной их жизни.

Именно она, Тамара Ивановна, впервые прочитала Аннинному классу «Вечера на хуторе близ Диканьки», и Анна, слушая про чёрта, укравшего месяц, и про кузнеца Вакулу, летевшего на этом самом чёрте в Петербург за черевичками, испытала то особое, ни с чем не сравнимое чувство узнавания, какое испытывает человек, впервые встретивший на страницах книги собственную, доселе безымянную тоску, облечённую наконец в слова, — только тоску эту облекли в слова уже почти двести лет назад, а сама она, Анна, всё ещё носила её безымянной.

— Гоголь, — говорила Тамара Ивановна, — умел смеяться так, что за смехом слышны были слёзы, а плакать — так, что за плачем угадывался смех. Запомните это, дети: настоящая тоска редко бывает без юмора, а настоящий юмор редко бывает без тоски.

Слова эти запали Анне в душу глубже, чем сама учительница могла предполагать, и много позже, разбирая собственную жизнь, полную и смеха, и слёз в равных, кажется, пропорциях, Анна не раз вспоминала эту нехитрую педагогическую сентенцию как своего рода ключ ко всему, что с ней впоследствии случилось.

Первую свою пятёрку по большому, настоящему сочинению — не за диктант, а именно за сочинение, за собственные, из головы придуманные слова, — Анна получила в тринадцать лет, написав на заданную тему «Как я провёл лето» вовсе не про лето, проведённое, как у всех прочих, на грядках у бабки или в пионерлагере, а маленькую фантазию о трамвае, который однажды ночью, никем не замеченный, съезжает с рельсов и катится через весь город, через весь лес, через все границы — туда, где тепло круглый год. Тамара Ивановна, прочитав это

сочинение перед всем классом — случай по тем временам едва ли не беспримерный, — сказала после только одно:

— У этой девочки, дети, есть то, что не купишь ни в одном магазине и не выучишь ни в каком техникуме. Береги это, Аня. Не расплескай.

Анна несла эти слова в себе долгие годы — как несут заветную вещь, завёрнутую в чистую тряпицу и спрятанную на самом дне сундука, — и, случалось, доставала их в минуты сомнения, чтобы удостовериться: что-то в ней самой, помимо жажды побега и обиды на тесноту квартиры №7, всё же стоило того, чтобы его беречь.

Глава шестая. О первом обмане и о цене мужского слова

Первый же серьёзный обман, испытанный Анной, случился не в стенах школы, а по соседству с ними — в лице некоего Димы из параллельного класса, мальчика с ясными, как у иконописного отрока, глазами и повадками истинного проходимца, который в четырнадцать её лет клялся ей в вечной любви, писал записки в стихах собственного, надо признать, довольно посредственного сочинения, а после, продержав её в этом сладком заблуждении ровно два месяца, признался при всём классе, что «спорил с пацанами, кто раньше её за руку возьмёт», и, взявши, торжественно этот спор выиграл.

Записки эти, надо признать, хранились у Анны долго, много дольше, чем следовало бы хранить памятку о столь незавидном обмане, — сложенные в несколько раз тетрадные листки, испещрённые неровным почерком четырнадцатилетнего поэта, воспевавшего то её «очи, полные тумана» (при том что глаза у Анны были самые обыкновенные, серые), то её «стан, подобный той берёзе, что растёт под нашим окном» (берёза эта, к слову, давно уже была спилена коммунальными службами за ветхость, о чём сам Дима, видимо, и не подозревал, увлечённый рифмой). Передавались эти послания через целую цепочку доверенных лиц — сперва через Славика Прохорова, потом, когда тот единожды оборонил записку в лужу и был за это отлучён от должности курьера, через саму младшую сестру Димы, девчонку из третьего класса, исполнявшую роль почтальона с той серьёзностью, с какой иные дети исполняют роли гораздо более ответственные.

Признание Димы прозвучало на перемене, у окна третьего этажа, где обычно собиралась вся мужская компания параллельного класса, — и прозвучало оно с той бравадой, с какой подросток стремится выслужиться перед приятелями за счёт чужого, ещё не окрепшего, но уже вполне живого сердца. Кто-то из его дружков, впрочем, тут же присвистнул неодобрительно, а один — по фамилии Соколов, мальчик тихий и до того ничем не примечательный — неожиданно бросил в сторону хвастуна короткое: «Дурак ты, Димон», — за что и был немедленно осмеян остальной компанией, но фраза эта, случайно долетевшая до Анны через две классные двери, запомнилась ей едва ли не крепче самого предательства: не всякий мужчина, оказывается, скроен по одной и той же гнилой мерке.

Анна не плакала — во всяком случае, не на людях. Она заперлась в туалете кабинета географии и просидела там до конца перемены, разглядывая на кафеле причудливые трещины и постигая первый в своей жизни урок, куда более важный, чем всё преподавшее ей до тех пор Тamarой Ивановной: что мужское слово, данное с самым честным на свете выражением лица, стоит подчас не дороже трамвайного билета, а иной раз и того меньше.

— Ничего, — сказала ей в тот вечер мать, заметив покрасневшие глаза дочери, но не пытаясь подробностей с той чуткой деликатностью, какая свойственна людям, самим не понаслышке знающим цену обманутым надеждам. — Мужики, Анют, они такие. Обещают небо в алмазах, а дают в лучшем случае фонарь под глазом.

Слова эти, произнесённые с горькой шуткой, легли в Аннину душу глубоким, хотя и невидимым до поры, семенем — семенем недоверия, которое взойдёт много позже, уже на итальянской земле, и даст плоды столь же горькие, сколь и неизбежные.

Одноклассники её, прежде относившиеся к Анне со сдержанным, почти ревнивым недоверием — всё же не всякой девушке доставался кавалер на иномарке отцовской фирмы, пусть даже подержанной, — после Диминого позора неожиданно переменили тон: та самая компания, что месяцем раньше шушукалась за спиной Анны, теперь плотным кольцом обступила её на перемене, наперебой браня вероломного ухажёра и уверяя, что «все мальчишки одина-

ковы, вот вырастешь — увидишь», — и в этом внезапном девичьем единении, столь же внезапном, сколь и недолгом, Анна впервые ощутила нечто вроде того самого квартирного, коммунального братства, какое связывало по праздникам Клавдию с Прохоровыми: обида, единожды разделённая на всех, сплавливает крепче любой дружбы, взращённой на одном лишь взаимном расположении.

Не там ищем любви, где нам её обещают всего звонче, а там, где нам её дают, ничего не обещая вовсе.

Глава седьмая. О шестнадцати годах и о первой, ещё не итальянской, мечте о побеге

К шестнадцати годам Анна из молчаливой, замкнутой девочки превратилась в столь же молчаливую, но уже вполне сознающую собственную привлекательность девушку, чем не преминули воспользоваться местные кавалеры, число которых прибывало пропорционально тому, как убывала её детская угловатость.

Самым настойчивым из них оказался некий Артём, сын начальника того самого завода, чья труба дымила над городом круглый год, — юноша самоуверенный, разъезжавший на подержанной, но всё же иномарке и полагавший, очевидно, что одного этого обстоятельства довольно, чтобы завоевать любое девичье сердце в радиусе городской черты. Артём звал Анну в кино, дарил ей духи, привезённые отцом из заграничной командировки, и однажды, разгорячённый то ли шампанским, то ли собственным красноречием, даже сделал ей нечто вроде полупредложения — «вот выучусь на менеджера, и заживём».

Анна слушала его посулы с тем внимательным, оценивающим спокойствием, с каким деревенская хозяйка слушает заезжего коробейника: товар, может, и неплох, да больно уж бойко нахваливает продавец собственный товар, а бойкая нахвала редко сопутствует товару добротному. К тому же «заживём» в Артёмовом изложении означало непременно ту же квартиру №7 — только уже, может статься, не на правах приживалки, а на правах невестки, что меняло, в сущности, немного.

Была у Артёма, надо заметить, и своя свита — компания из трёх-четырёх приятелей, столь же самоуверенных, столь же обременённых отцовскими иномарками, — собиравшихся по вечерам у гаражей на окраине, где пилаась дешёвая водка, слушалась магнитола и обсуждались, с той провинциальной основательностью, с какой в столицах обсуждают разве что судьбы мира, достоинства местных девушек — их, девушек, происхождение, характер и, как выражался сам Артём, «перспективность». Анна, узнав однажды через общих знакомых, что её саму обсуждали в этом кругу именно в таких терминах — «перспективная, но с гонором», — испытала не столько обиду, сколько окончательное, отрезвляющее подтверждение собственной правоты: не для того копила она в душе мечту о побеге, чтобы сделаться в итоге строкой в чьей-то гаражной описи невест.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.